

# Лекция 1. Что представляет собой данный курс?

7 января 1976 г. Что представляет собой данный курс? — Подчиненные знания. — Историческое знание о борьбе, генеалогии и научный дискурс. — Власть как ставка генеалогий. — Юридическая и экономическая концепции власти. — Репрессивная и военная власть. —

## Переформулирование афоризма Клаузевица

Я хотел бы немного объяснить назначение этих курсов. Вы знаете, что институт, в котором находимся мы с вами, не является, строго говоря, учебным. Словом, каков бы не был замысел, когда он много лет назад создавался, в настоящее время Коллеж де Франс представляет собой своеобразную исследовательскую структуру: его деятельность оплачивают в исследовательских целях. И я думаю, что преподавательская деятельность в конечном счете не имела бы смысла, если бы ей не придали или не сообщили того оттенка, который я имею в виду, когда задаю себе вопрос: так как нам платят за исследования, то кто может их контролировать? Каким образом можно держать в курсе дела

интересующихся этим и тех, кто имеет некоторые причины следить за такими исследованиями? Как можно это организовать, если не с помощью преподавания, то есть путем публичной лекции, публичного отчета о проделанной работе, проводимого довольно регулярно? Я не считаю, таким образом, наши заседания по средам формой преподавательской деятельности, скорее, это своего рода публичные отчеты о работе, которую притом я провожу в соответствии с моими интересами. Поэтому я считаю очень важным для себя рассказать вам, что я примерно делаю, на каком этапе находится моя работа, в каком направлении [...] она ведется; и поэтому же я в равной степени считаю вас совершенно свободными делать с моими сообщениями все, что пожелаете. Направление исследования, идеи, схемы, наметки, инструментарий: распоряжайтесь ими по собственному усмотрению. Самое большее, можно сказать, что это меня интересует, но в целом не касается. Не касается в той мере, в какой я не выдвигаю определенных требований по использованию предоставляемых мною материалов, интересует в той мере, в какой это соотносится, увязывается так или иначе с тем, что я делаю.

Учитывая сказанное, вы можете понять, что происходило при чтении лекций в предыдущие годы: вследствие своего рода инфляции, причины которой плохо понятны, мы пришли, как я думаю, к состоянию, когда дело было почти приостановлено. Вы были вынуждены приходить в четыре с половиной часа [...], и я оказывался перед аудиторией, состоящей из людей, с которыми, строго говоря, я не имел никакого контакта, так как часть, если не половина аудитории, вынуждена была переходить в другой зал, слушать через усилители то, что я говорил. Это даже не было собственно спектаклем — меня не было видно. Но все прекратилось по другой причине. Потому что для меня — скажу вам — необходимость проводить по средам каждый вечер в этом своего рода цирке было, можно сказать, настоящей пыткой, если выразиться сильно, скукой — если говорить мягче. Точнее, это было нечто промежуточное между двумя названными состояниями. В результате хорошо готовил лекции, уделяя им немало старания и внимания, и посвящал гораздо меньше времени собственно исследованиям, вещам одновременно интересным и немного противоречивым, которые я мог бы рассказать и которые поставили меня перед вопросом: смогу ли я в течение одного или полутора часов говорить об этом так, чтобы не слишком наскучить людям и чтобы в результате та добрая воля, которую они проявили, решившись приходить сюда так рано и короткое время слушать меня, была бы немного вознаграждена, и т. д. Посвятив таким размышлениям месяцы, я пришел к выводу, что если обосновывать мое присутствие здесь и даже ваше присутствие проведением исследования, работой, обновлением некоторых тем, выдвижением идей, то все это на деле не может служить вознаграждением за [проделанный] труд. Положение, таким образом, оставалось неопределенным. Тогда я сказал себе: все-таки было бы неплохо, если бы в зале могли находиться тридцать или сорок человек, я мог бы рассказать им приблизительно о том, что я делал, и в то же время контактировать с ними, говорить, отвечать на вопросы и т. д., получить некоторую возможность обмена мыслями, что и предполагает нормальная практика исследования или преподавания. Но как это сделать? По существующим правилам я не могу устанавливать какие-то формальные условия допуска в этот зал. Тогда я принял самостоятельное решение, состоявшее в том, чтобы начинать лекции в девять с половиной часов утра, думая, как сказал вчера мой помощник, что студенты не смогут подниматься к девяти с половиной утра. Вы скажете, что это все же не очень справедливый критерий отбора: он разделяет тех, кто поднимается рано, и тех, кто не может этого сделать. Вы

скажете, что это не слишком справедливый критерий отбора: кто поднимается и кто не поднимается. Те и другие. Но с другой стороны, поскольку всегда здесь имеются маленькие магнитофоны, аппараты для записи и так как мои лекции затем циркулируют — в одних случаях остаются в магнитофонной записи, в других — оказываются перепечатанными, иногда даже попадают в библиотеки, — поэтому я сказал себе: лекции всегда находятся в обращении. Стоит, следовательно, попытаться [...], Извините меня за то, что заставил вас подняться слишком рано, и пусть извинят меня те, кто не смог прийти; это предпринято единственно для того, чтобы чуть-чуть придать нашим беседам и встречам по средам более нормальный вид исследования, работы, которая проделана и о которой представляется отчет с официальными и регулярными интервалами.

Итак, что я хотел бы вам рассказать в этом году? Именно то, о чем я уже сказал достаточно: то есть хотел бы попытаться завершить, в какой-то степени подвести итог серии исследований — в конце концов, исследование — это слово, которое употребляют по необходимости, но неясно, что оно действительно означает? — которые продолжались вот уже четыре или пять лет, практически с того времени, как я нахожусь здесь, и относительно которых я отдаю хорошо себе отчет, что они привели к нежелательным как для вас, так и для меня последствиям.

Это были близкие друг другу исследования, которые не увенчались созданием связного целого, имеющего логическое единство; они имели фрагментарный характер, причем каждый из фрагментов не только не получил своего завершения, но и не имел продолжения; рассеянные исследования и притом очень однообразные, которые развивались в одном и том же направлении, имели одинаковые темы и опирались на одни и те же понятия. Это маленькие заметки по истории уголовного судопроизводства; несколько глав, относящихся к развитию и институционализации психиатрии в XIX веке; заметки о софистике или о греческой монете; или об инквизиции в средние века; набросок из истории сексуальности или, во всяком случае, из истории изучения сексуальности при опоре на практику исповедания в XVII веке или о формах наблюдения за детской сексуальностью в XVIII–XIX веках; заметки о генезисе теории и знания об аномалии вместе со связанными с этим знанием техниками. Все это буксует, не продвигается вперед; все повторяется и не связывается друг с другом. По сути, речь идет об одном и том же и, однако, может быть, ни о чем; все вместе представляет собой плохо поддающуюся расшифровке путаницу, которой чужда какая-либо организация; короче, как говорится, этому нет конца.

Я мог бы вам сказать: в конце концов, это пути, по которым можно идти, неважно, куда они вели; было даже важно, чтобы они вовсе не были шагами в заранее определенном направлении; это наметки. Вам надлежит их продолжить или изменить; мне, в случае необходимости, нужно их продолжить или придать им другую форму. В итоге скоро увидим, вы или я, что можно сделать из этих фрагментов. Я поступал почти как кашалот, который сверху прыгает в воду, оставляя в ней маленький временный водоворот, и который позволяет, заставляет или хочет думать, или, может быть, на самом деле думает о себе, что внизу, там, где его больше не видно, там, где его больше никто не замечает и не контролирует, он продвигается по глубинной, связной и обдуманной траектории.

Вот почти такой была ситуация, как я ее воспринимаю; я не знаю, какой она была с вашей точки зрения. В конце концов, работа, которую я вам представил, имела одновременно фрагментарный, однообразный и прерывистый характер, во многом она соответствовала бы тому, что могли бы назвать «лихорадочной медлительностью», которая особым образом поражает любителей библиотек, документов, справок, покрытой вековой пылью письменности, текстов, которые никогда не были прочитаны, книг, которые, будучи едва напечатаны, были заперты и потом дремали на полках и были извлечены только несколько веков спустя. Все это хорошо вписывается в деловую инерцию тех, кто исповедует знание ни о чем, род ненужного знания, богатство выскочки, внешние знаки которого, как вы хорошо знаете, расположены внизу страниц. Это импонировало бы всем тем, кто чувствует себя солидарным с одними из самых древних, вероятно, самых характерных для Запада тайных обществ; с одним из тех, на удивление прочных, неизвестных тайных обществ, возникших, как мне кажется, в античности и сформировавшихся в раннем христианстве, наверное в эпоху первых монастырей, в лесах, в обстановке нашествий и пожаров. Я хочу говорить о большом, нежном и теплом франкмасонстве бесполезной эрудиции.

Но не только вкус к этому франкмасонству толкнул меня к тому, что я делал. Мне кажется, что работу, которая была проделана и переходила немного эмпирическим и случайным образом от вас ко мне и от меня к вам, можно было бы оправдать, сказав, что она довольно хорошо соответствует определенному, очень ограниченному периоду, тому, в котором мы живем десять или пятнадцать, максимум двадцать, последних лет, в нем можно выделить два феномена, если не действительно важных, то, по крайней мере, как мне кажется, довольно интересных. С одной стороны, указанный период характерен тем, что можно было бы назвать действительностью рассеянных и прерывистых наступлений. Я думаю о многих вещах, например о странной эффективности выступлений против института психиатрии, об очень в конечном счете локализованных дискурсах антипсихиатрии; дискурсах, относительно которых вы хорошо знаете, что они не были подкреплены никакой связной систематизацией и до сих пор ее не имеют, какими бы не были, какими бы не представляли их референции. Я имею в виду изначальную референцию к экзистенциальному анализу<sup>1</sup> или современные референции, обращенные в основном к марксизму или к теории Райха.<sup>2</sup> Я думаю также о странной действительности атак, которым подвергалась, например, мораль или традиционная сексуальная иерархия, атак, тоже обоснованных смутно и неопределенно, во всяком случае, очень неясно, Райхом и Маркузе.<sup>3</sup> Я думаю еще об эффективности атак на судебный-уголовный аппарат, некоторые из них очень отдаленно соотносились с общим и к тому же довольно сомнительным понятием «классовой юстиции», а другие едва ли более определенно были связаны по своей сути с анархизмом. Я также думаю, в частности, о влиянии такой вещи — я не осмеливаюсь даже сказать книги, — как «Анти-Эдип»,<sup>4</sup> которая практически не была и не является соотносимой с чем-либо другим, кроме собственной чудесной теоретической изобретательности; эта книга, или скорее явление, событие, повлияла даже на повседневную действительность, вызвала долгий непрерывавшийся говор, перетекающий от дивана к креслу.

Итак, я скажу следующее: вот уже десять или пятнадцать лет как широко распространились и все усиливаются критические отношения в определении вещей, институтов, практик, дискурсов; обнаружилась своего рода хрупкость общих основ, даже, может быть, особенно основ самых привычных, прочных и самых нам близких, касающихся нашего тела,

повседневного поведения. Но в то время как открылись, с одной стороны, упомянутая хрупкость и, с другой стороны, удивительная действенность, ориентированные на частные локальные сферы жизни, открылось и нечто такое, что вначале невозможно было предвидеть: его можно было бы назвать подавляющим действием тоталитарных теорий, я хочу сказать, теорий обволакивающих и глобальных. Не то чтобы подобные теории не обеспечивали раньше и не обеспечивают сейчас почти постоянно полезные подходы к определенным сферам общественной жизни: это могут доказать марксизм и психоанализ. Но они, я думаю, полезны только при условии, что теоретическое единство их дискурсов поставлено под вопрос, во всяком случае оно перерезано, разодрано, разорвано в клочья, перевернуто, смещено, осмеяно, шаржировано, театрализовано и т. д. Фактически всякое понимание, остающееся в рамках тотальности, вызывало противодействие. Итак, если хотите, первая черта, первая особенность происшедшего за последние пятнадцать лет, заключается в локальном характере критики, однако, я думаю, это не означает, что она имеет характер тупого, наивного или простоватого эмпиризма, либо рыхлого, приспособленческого эклектизма, впитывающего в себя любые теории, ни тем более несколько волюнтаристского аскетизма, который бы свидетельствовал об огромной бедности в теоретическом плане. Я думаю, что преимущественно локальный характер критики указывает на появление своего рода автономного, нецентрализованного теоретического производства, такого, которое не имеет для подтверждения своей ценности нужды в санкции со стороны общего знания.

Именно здесь мы подходим ко второй особенности процессов, происходивших в обществе в последнее время: она заключается в том, что, как мне кажется, локальная критика осуществляется посредством так называемого «обратного хода знания». Об этом феномене я могу сказать следующее: если верно, что в последние годы мы часто встречали, по крайней мере на поверхностном теоретическом уровне, высказывания типа «нет знанию, да жизни», «нет познанию, да реальному», «нет книгам, да деньгам»[9] и т. д., то, как мне кажется, за всеми этими высказываниями скрывалось явление, которое можно было бы назвать восстанием «подчиненных знаний». Под этим определением я понимаю две вещи. С одной стороны, совокупность исторических знаний, которые были похоронены, замаскированы под давлением функциональной связности или в силу формальных систематизации, присущих господствующему знанию. Если говорить конкретно, при этом, конечно, не имеется в виду семиология жизни в приютах и не более того социология преступности, а предполагается появление исторического содержания, которое позволяло осуществлять действенную критику как в отношении института приютов, так и в отношении института тюрьмы. И это понятно, потому что только историческое содержание может позволить вновь обрести различные формы столкновений и борьбы, которые поистине оказались замаскированы функциональными построениями и систематизированными теориями. Итак, «подчиненные знания» представляют собой блоки исторического знания, которые присутствуют в замаскированном виде внутри функциональных и систематизированных теорий, которые критика могла выявить вновь, разумеется, с помощью эрудиции. С другой стороны, под «подчиненными знаниями» я понимаю также другую, в некотором смысле совсем другую, вещь. Я понимаю под ними всю совокупность знаний, которые оказались дисквалифицированы по причине своей неконцептуальности, то есть как недостаточно разработанные знания: знания наивные, иерархически низшие, знания, находящиеся ниже требуемого уровня научности. И критика ведется именно

благодаря восстановлению этих низших, неквалифицированных, даже дисквалифицированных знаний, знаний подвергнутого психиатрическому или другому лечению больного, санитаря, знанию медика, но такому, которое по отношению к распространенному медицинскому знанию занимает маргинальное и параллельное положение, знанию преступника и т. д. — такое знание я назвал бы, если хотите, «знанием людей» (оно вовсе не является общим знанием или здравым смыслом, наоборот, это знание частичное, локальное, региональное, дифференциальное, в отношении него невозможно единодушное мнение и оно сохраняет свою значимость только в результате резкого разрыва с общераспространенным знанием — критика, повторю, осуществляется только благодаря новому появлению локальных знаний людей.

Вы мне скажете: странный парадокс виден в желании сгруппировать, соединить в одной и той же категории «подчиненных знаний», с одной стороны, скрупулезное, эрудированное, точное, техничное историческое знание, а с другой — локальные, единичные знания людей, которые не имеют общего значения и были в некотором роде, как земля, оставлены невозделанными, если не находились явно на обочине. Но, я думаю, что действительно именно в результате объединения похороненных знаний эрудитов и знаний, дисквалифицированных в силу научной иерархии, обрела свою основную силу критика дискурсов в последние пятнадцать лет. Действительно, о чем шла речь в том и другом случаях, в знании эрудитов и в дисквалифицированном знании, в обеих этих формах подчиненного или погребенного знания? Речь шла о знании истории борьбы. В них содержалось историческое знание о формах существовавшей в прошлом борьбы. В специализированном знании эрудитов, как и в дисквалифицированном знании обычных людей, содержалась память о борьбе, которую на самом деле отбросили на обочину истории. Таким образом, я обрисовал то, что можно было бы назвать генеалогией, или, скорее, многочисленными генеалогическими исследованиями, которые представляют собой одновременно основанное на эрудиции новое открытие существовавшей в прошлом борьбы и необработанную память о ней; эти генеалогии как объединение знания эрудитов и знания людей были бы невозможны, нечего было бы и пытаться это сделать, если бы не одно условие: а именно, появление тирании глобальных дискурсов с их иерархией и со всеми привилегиями теоретического авангарда. Назовем, если хотите, «генеалогией» единство знания эрудитов и локальных воспоминаний, единство, которое позволяет конституировать историческое знание о борьбе и обосновать использование этого знания в современной тактике. Таким может быть, во всяком случае его нужно временно принять, определение генеалогий, которое я пытался найти вместе с вами в моих курсах последних лет.

Вы видите, что фактически в деятельности, которую можно назвать генеалогической, никоим образом не предполагается противопоставление абстрактного единства теории конкретной множественности фактов; никоим образом не предполагается дисквалификация спекулятивного с целью противопоставить ему в форме какого-то сциентизма строгость хорошо обоснованных знаний. Значит, не эмпиризм отличает генеалогический проект; тем более не позитивизм в обычном смысле слова. Фактически, речь идет о том, чтобы задействовать локальные, прерывистые, дисквалифицированные, незаконные знания для противостояния унитарной теоретической инстанции, которая претендовала бы на то, чтобы их отфильтровать, иерархизовать, организовать от имени настоящего знания, от имени прав науки, принадлежащей немногим. Генеалогии, таким образом, не являются позитивистским

поворотом к форме, более внимательной к историческим деталям или более точной науки. Генеалогии как раз принадлежат к антинауке. Они не требуют какого-то особого права для невежества и незнания, не требуют также отказа от знания или выпячивания, демонстрации престижа непосредственного опыта, еще не включенного в знание. Не об этом идет речь. Речь идет о восстании знаний. Не только против содержания, методов или понятий науки, речь прежде всего идет о восстании против последствий централизованной власти, которая связана с установлением и функционированием организованного научного дискурса в обществе, подобном нашему. И по сути неважно, реализуется ли эта институционализация научного дискурса в университете или, шире, в педагогическом аппарате, реализуется ли она в теоретико-коммерческой сети психоанализа или, как в случае марксизма, в политическом аппарате со всем к нему относящимся. Генеалогия должна вести борьбу именно против последствий власти так называемого научного дискурса.

Я скажу точнее или хотя бы понятнее для вас: вы знаете, что вот уже много лет, вероятно более века, многие спрашивали себя, является ли марксизм наукой. Можно было бы сказать, что тот же вопрос был поставлен и до сих пор остается в силе в отношении психоанализа или еще более остро стоит в отношении семиологии литературных текстов. Но на вопрос, «является или нет нечто наукой?» исследователи генеалогий ответили бы: «Действительно, чаще всего выдвигается упрек, что из марксизма или из психоанализа, или из чего-нибудь еще сделали науку. Но если и выдвигать возражение против марксизма, то в том, что он действительно мог бы быть наукой». Я могу сказать несколько иначе: прежде чем спрашивать, в какой мере марксизм или психоанализ, или что-нибудь другое соотнобразуется с повседневным течением научной практики, с правилами построения теории, с употребляемыми в науке понятиями, прежде чем ставить перед собой вопрос о формальном и структурном сходстве марксистского или психоаналитического дискурса с научным дискурсом, не нужно ли прежде всего спросить себя о том стремлении к власти, которая связана с претензией быть наукой? Не следует ли поставить следующие вопросы: «Какого типа знание хотите вы дисквалифицировать в тот момент, когда говорите от лица науки? Какого говорящего, размышляющего субъекта, какого субъекта опыта и знания хотите вы принизить в тот момент, когда говорите: „Мой дискурс является научным, и я сам являюсь ученым?“ Какой теоретико-политический авангард хотите вы таким способом возвести на трон, для того чтобы отделить от него все массовые, циркулирующие и прерывистые формы знания?». И я бы сказал: «Когда я вижу ваше стремление доказать, что марксизм является наукой, я, по правде говоря, не думаю, что вы в состоянии раз и навсегда доказать рациональную структуру марксизма и, следовательно, верифицируемость его тезисов. Я вижу, что вы в состоянии сделать другую вещь. А именно, придать марксистскому дискурсу и тем, кто его осуществляет, функции власти, которой Запад со средневековья наделял науку и ученых».

По сравнению с системой наук, определяющей включение знаний в свойственную науке иерархию власти, генеалогия могла бы рассматриваться как особый род исследования, направленного на освобождение исторических знаний и придание им независимости, в результате чего они оказались бы способны выстоять в борьбе против их угнетения со стороны унитарного, формального и научного теоретического дискурса. Возрождение локальных знаний — «меньших», как, возможно, сказал бы Делёз,<sup>5</sup> — в противовес научной иерархии знаний с присущими ей властными функциями — такова цель этих генеалогий,

несущих с собой нарушение порядка и распад. В двух словах я сказал бы следующее: археология была методом анализа локальных дискурсивностей, а генеалогия, исходя из уже выявленных локальных дискурсивностей, способствует формированию освобожденных таким образом независимых знаний. Все это нужно для завершения общего замысла. Вы видите, что все фрагменты исследования, все слова, которые одновременно перекрещиваются и где-то прерываются, и все, что я упрямо повторял в течение вот уже четырех или пяти лет, могли бы рассматриваться как элементы таких генеалогий, которые далеко не я один осуществлял на протяжении пятнадцати последних лет. Тогда возникает вопрос: почему не продолжить начатое, обладая такой красивой — и, вероятно, плохо поддающейся проверке — теорией прерывности? Почему я не продолжаю и почему не предпринимаю еще раз того, что было проделано в отношении психиатрии, теории сексуальности и т. д.?

Верно, можно было бы это продолжить и до известной степени я буду пытаться продолжать, если не произойдет некоторых изменений в конъюнктуре, я хочу сказать, что в сравнении с ситуацией, известной нам пять, десять или уже пятнадцать лет, обстановка скорее всего изменилась; борьба теперь имеет несколько иной характер. Вопрос заключается в том, существует ли еще соотношение сил, которое позволило бы нам поддерживать живыми эти лишённые смысла знания, бороться против их порабощения и использовать их? Какой силой они обладают? И потом, начиная с момента, когда таким образом освобождают фрагменты генеалогии, когда их выставляют в выгодном свете, когда вводят в обращение элементы знания, которое пытались обесмыслить, не создается ли рискованная ситуация в условиях которой упомянутые элементы снова будут закодированы, заново колонизованы унитарными дискурсами, которые, после того как вначале дисквалифицировали эти элементы, затем, когда они снова появились, их игнорировали, а теперь, может быть, готовы их аннексировать и включить в свой собственный дискурс и в свои собственные познавательные и властные действия? И вот когда мы хотим защитить эти освобожденные таким образом фрагменты, не выстраиваем ли мы сами, своими собственными руками тот унитарный дискурс, в котором мы, может быть в силу подвоха, походим на тех, кто нам говорит: «Все это очень мило, но к чему это годится? Для какого направления? Для какого единства?». Но пока не наступило определенное время, можно говорить: хорошо, продолжим, будем накапливать. Несмотря ни на что, не наступил еще момент, когда мы рискуем быть колонизованными. Я вам сказал сейчас, что эти генеалогические фрагменты могут быть заново закодированы; но можно было бы бросить вызов и сказать: «Пытайтесь!». Можно было бы, например, сказать: начиная с момента, когда были предприняты попытки создания антипсихиатрии или генеалогии психиатрических институтов, — тому теперь добрых пятнадцать лет — нашелся ли хоть один марксист, психоаналитик или психиатр, который захотел бы проанализировать сделанное нами в своих собственных терминах и показать, что эти генеалогии были ложны, плохо разработаны, плохо выстроены, плохо обоснованы? Фактически, разработанные фрагменты генеалогии окружены осторожным молчанием. Самое большее, им противопоставляют высказывания вроде тех, которые недавно довелось услышать от М. Жюкена:<sup>7</sup> «Все это очень мило. Из этого следует, что советская психиатрия лучшая в мире». Я бы ответил: «Конечно, вы правы, советская психиатрия лучшая в мире и именно в этом ее можно упрекнуть». Может быть, молчание или, скорее, осторожность, с которыми представители унитарных наук подходят к генеалогии знаний, создают условия для продолжения нашей работы. Во всяком случае, по

своему желанию можно было бы продолжить разработку генеалогических фрагментов, вкладывая в них подвохи, вопросы, вызовы. Но, вероятно, в тот момент, когда речь идет в конечном счете о борьбе — борьбе знаний против проявлений власти научного дискурса, — было бы слишком оптимистично видеть в молчании противника только свидетельство того, что он напуган. Согласно методологическому или тактическому принципу, который всегда нужно держать в уме, молчание противника является, возможно, знаком, что он уверен в себе. И я думаю, нужно действовать так, как если бы действительно он не был напуган. Итак, речь пойдет не о том, чтобы дать прочную и солидную теоретическую основу для всех разрозненных генеалогических исследований, — я ни в коем случае не хочу возложить на них род теоретической короны, которая должна их объединить, а о том, чтобы попытаться в будущих курсах и, по всей вероятности, начиная с этого года уточнить или определить ставку этого противостояния, этой борьбы, этого восстания знаний против научного дискурса, его знания и власти.

Вопрос всех генеалогий, как вы знаете и вряд ли есть необходимость это уточнять, заключается в следующем: что представляет собой та власть, агрессивность, сила, жесткость и абсурдность которой проявились в последние сорок лет, отмеченных также крушением нацизма и отступлением сталинизма? Что такое власть? Или, скорее, так как вопрос «Что такое власть?» имеет теоретический характер и мог бы быть поставлен лишь в конце большого исследования, что не соответствует моим целям, — задача состоит в определении устройства власти, в рассмотрении ее различных механизмов, способов их воздействия и взаимосвязей того, как и в каких масштабах они сказываются в столь разнообразных сферах. *Grosso modo*, я думаю, вопрос состоит в том, могут ли власть или власти быть выведенными из экономики?

Вот почему я ставлю этот вопрос и именно об этом хочу здесь говорить. Я никоим образом не собираюсь сглаживать бесчисленные, огромные различия между юридической (либеральной) концепцией политической власти, которую находим у философов XVIII века, и марксистской концепцией или, во всяком случае, некими ходячими штампами, которые выдают за марксистскую теорию, но несмотря на эти различия и именно благодаря им проявляется, мне кажется, нечто общее между ними. Это общее я назвал бы «экономизмом» в трактовке власти. Я хочу сказать следующее: в классической юридической концепции власти она рассматривалась как право, которым можно было бы обладать как благом и в силу этого иметь возможность его передавать или отчуждать, полностью или частично, посредством юридического акта или акта основания права — в данном случае неважно, происходило ли это посредством передачи права или на основе договора. Говоря конкретнее, власть — это то, чем обладает всякий индивид и что он мог бы полностью или частично уступить, чтобы создать власть, политический суверенитет. Конституирование политической власти, таким образом, осуществляется согласно теории на основе юридической процедуры, которую можно обозначить как договор. Следовательно, в ней просматривается связь между властью и благом, властью и богатством.

Другой вариант трактовки природы власти даст марксистская концепция, в ней как будто нет ничего похожего на либеральную точку зрения. Но в марксистской концепции есть нечто другое, что можно было бы назвать «экономической функциональностью» власти. Власть выполняет одновременно роль опоры для производственных отношений и

осуществляет классовое господство, которое стало, возможным благодаря развитию и особенностям присвоения производительных сил. Короче, политическая власть имела бы свою историческую основу в экономике. В целом, если хотите, в одном случае политическая власть обрела бы свою формальную модель в явлении обмена, в экономике обращения благ; в другом случае политическая власть имела бы в экономике свою историческую основу и принцип, определяющий ее конкретную форму и реальное функционирование.

Проблема наших исследований может, я думаю, быть разделена на части определенным образом. Во-первых, необходимо выяснить, всегда ли власть зависима от экономики? Всегда ли экономика формулирует ее и приводит в действие? Имеет ли по существу власть своим оправданием и целью служение экономике? Предназначена ли она к тому, чтобы двигать, укреплять, поддерживать, продлевать те отношения, которые характерны для данной экономики и важны для ее функционирования? Во-вторых, нужно ответить на вопрос, сформирована ли власть по образцу товара? Является ли власть вещью, которой обладают, которую приобретают, которую можно уступить в результате договора или под угрозой силы, которая отчуждается или восстанавливается, циркулирует, которая действует в одной области и избегает другой? Или, напротив, для анализа власти нужно попытаться задействовать разные подходы, даже если властные и экономические отношения сильно переплетены, даже если они всегда находятся в прочной связи друг с другом? В таком случае связь между экономикой и политикой нельзя было бы преобразить однозначно как функциональную субординацию или формальное сходство, она была бы чем-то таким, что еще нужно прояснить. Если мы решаем провести анализ власти не с экономической точки зрения, то чем для этого мы располагаем? Можно, я думаю, сказать, что мы располагаем очень немногим. Мы располагаем прежде всего идеей, что власть не отдается, не обменивается, не возвращается назад, она всегда находится в действии и существует только в нем. Мы располагаем также другой идеей, согласно которой власть не является прежде всего опорой и поддержкой экономических отношений, главное состоит в том, что она олицетворяет силовое отношение. В таком случае возникают вопросы, точнее два вопроса; если власть находится в действии, то что из себя представляет это действие? В чем оно состоит? Какова его механика? На эти вопросы можно получить немедленный ответ, он присутствует в конечном счете во многих современных теориях: власть подавляет. Именно власть подавляет природу, инстинкты, класс, индивидов. Но определение власти как силы подавления не является изобретением современного дискурса. Первый это сказал Гегель, затем Фрейд, потом Райх.<sup>8</sup> Во всяком случае, определение власти как органа репрессии это ее характеристика, почти гомеровская, сохранившаяся в современном словаре. В таком случае задаем себе вопрос: должен ли анализ власти быть прежде всего и в основном анализом механизмов репрессии? Вывод из сказанного может выглядеть следующим образом: если власть сама по себе представляет полагание и развертывание силовых отношений, то не нужно ли, вместо того чтобы анализировать ее в терминах уступки, договора, отчуждения или в функциональном аспекте как силу, поддерживающую производственные отношения, проанализировать ее в терминах борьбы, столкновения или войны? Так мы получаем первую гипотезу — механизм власти сводится в основном и главном к репрессии — и вторую гипотезу — власть это война, война, продолженная другими средствами. Здесь мы сталкиваемся с тезисом Клаузевица<sup>9</sup> и могли бы сказать, что политика это война, продолженная другими средствами. Такое утверждение имело бы три последствия. Прежде всего следующее: существующие в обществе, подобном нашему,

властные отношения связаны в своей основе с некоторым соотношением сил, установившимся в исторически определенный момент в войне и с помощью войны. И если правда, что политическая власть останавливает войну, устанавливает или пытается установить мир в гражданском обществе, это происходит не для того, чтобы ликвидировать последствия войны или устранить неравновесие, проявившееся в последней военной битве. Согласно этой гипотезе, политическая власть, ведя своего рода тайную войну, берется надолго вписать это соотношение сил в институты, в экономическое неравенство, в язык, в соотношение тех или иных слоев населения. Таким образом, переформулированный нами афоризм Клаузевица имеет прежде всего такой смысл: политика это война, в которой используются другие средства; то есть политика это санкция и продолжение продемонстрированного в войне неравновесия сил. Но переформулирование афоризма Клаузевица означает еще кое-что, а именно, что происходящие внутри «гражданского мира» политическая борьба, столкновения по поводу власти, с властью, за власть, изменения в соотношении сил — усиление одной стороны, ниспровержение другой и т. д. — не должны интерпретироваться только как формы продолжения войны. Нужно было бы их толковать как эпизоды, фрагменты, перемещения самих военных действий. Если это так, то нам бы всегда преподносили только историю одной и той же войны, даже когда описывали историю мира и его институтов. Переформулирование афоризма Клаузевица означало бы еще третье: последнее решение может исходить только от войны, то есть от соотношения сил, когда армии должны будут выступить в качестве судей. Концом политики могла бы стать последняя битва, то есть последняя битва остановила бы наконец функционирование власти как непрерывной войны. Таким образом, вы видите, что начиная с момента, когда мы пытаемся при анализе власти освободиться от экономистских схем, мы сразу оказываемся перед двумя мощными гипотезами: во-первых, можно видеть смысл власти в репрессии — это гипотеза, которую я бы для удобства назвал гипотезой Райха, — и во-вторых, можно видеть его в воинственных столкновениях сил — это гипотеза, которую я бы также для удобства назвал гипотезой Ницше. Обе гипотезы не являются непримиримыми, напротив, они даже кажутся довольно правдоподобно соединимыми: в конце концов, не являются ли репрессии политическим следствием войны, подобно тому как в классической теории политического права угнетение было злоупотреблением властью на юридическом уровне?

Итак, в рамках анализа власти можно было бы противопоставить друг другу две большие теоретические системы. Наиболее старую из них можно найти у философов XVIII века, она содержит понятие власти как данного от рождения права, которое можно уступить в целях конституирования суверенитета, и рассматривает договор как матрицу политической власти. Конституированная таким образом власть может превратиться в угнетающую, если она выходит за рамки собственных полномочий, то есть выходит за пределы договора. Границей подобной власти-договора или, скорее, выходом ее за собственные границы является угнетение. В другой системе, напротив, политическая власть рассматривается не в соответствии со схемой договор-угнетение, а в соответствии со схемой война-репрессии. И в данном случае репрессии — не то, чем было угнетение в договорной системе, то есть злоупотребление, а, напротив, простое следствие и продолжение отношений господства. Репрессия является не чем иным, как приведением в действие вечных силовых отношений внутри того псевдомира, который представляет собой просто результат непрерывной войны. Таким образом, есть две схемы анализа власти: договор-угнетение, это, если хотите, юридическая схема, и война-репрессии (или господство-репрессии), в рамках которой

уместна не противоположность законного и незаконного, как в предыдущей схеме, а противоположность борьбы и подавления.

Понятно, что все, о чем я вам говорил в предшествующие годы, вписывается в схему война-репрессии. Именно эту схему я пытался использовать. Однако по мере работы с ней я был вынужден ее пересмотреть; во-первых, конечно, потому, что для применения к той массе проблем, которые я пытался решать, она была еще недостаточно разработана — я бы даже сказал, что она совершенно не была разработана, — и, во-вторых, также потому, что, как мне кажется, оба эти понятия — «репрессия» и «война» — должны быть перетолкованы, а в итоге, может быть, вообще отвергнуты. Во всяком случае, нужно поближе рассмотреть понятия «репрессия» и «война», или, если хотите, рассмотреть ту гипотезу, согласно которой механизмы власти были бы по существу механизмами репрессии, и ту, по которой за функционирующей политической властью по сути дела скрывается и грохочет война. Скажу без хвастовства, что я давно не доверял понятию «репрессия» и пытался вам показать именно в связи с генеалогиями, о которых недавно говорил, в связи с историей уголовного права, психиатрической власти, контроля над детской сексуальностью и т. д., что во всех случаях власть приводила в действие другие механизмы, а не репрессии. Я не могу продолжать, не проведя анализа этого понятия, не собрав почти все, что, вероятно немного бессвязно, я могу сказать по этому поводу. Вследствие этого, ближайшая или, возможно, две ближайшие лекции будут посвящены критике понятия «репрессия», я попытаюсь показать, как и почему это столь употребимое теперь при характеристике механизмов и последствий власти понятие «репрессия» совершенно для этой цели непригодно.<sup>10</sup> Но основная часть лекций будет посвящена другой проблеме — войне. Я хотел бы попытаться рассмотреть, в какой мере бинарная схема войны, борьбы, столкновения сил может эффективно служить для трактовки основы гражданского общества, быть одновременно принципом и движущей силой политической власти. Точно ли о войне нужно говорить при анализе функционирования власти? Употребимы ли здесь понятия «тактика», «стратегия», «соотношение сил»? В какой мере могут ее характеризовать? Является ли власть просто войной, осуществляемой не оружием и битвами, а другими средствами? Содержится ли какая-то доля истины в популярной, хотя и относительно недавно возникшей, идее о необходимости защиты общества со стороны власти, верно ли, что общество организовано в своей политической структуре таким образом, чтобы некоторые могли защищаться от других, или защищать свое господство от восстания других, или, еще проще, защищать свою победу и увековечивать ее, навязывая другим состояние подчинения? Итак, схема курса этого года будет следующей: сначала одна или две лекции будут посвящены рассмотрению понятия «репрессия»; затем я начну [трактовать] — и, вероятно, продолжу в последующие годы, я этого еще не знаю, — проблему войны в гражданском обществе. Я могу точно сказать, что начну подробнее рассматривать работы тех, кого считают теоретиками войны в гражданском обществе и которые совершенно, по моему мнению, ими не являются, то есть Макиавелли и Гоббса. Затем я попытаюсь проанализировать теорию войны как исторического принципа функционирования власти в связи с проблемой расы, так как именно бинаризм рас дал, в первый раз на Западе, возможность проанализировать политическую власть как форму войны. И я попытаюсь довести анализ до того момента, когда расовая и классовая формы борьбы становятся в конце XIX века двумя великими схемами, с помощью которых [пытаются] обнаружить феномен войны и силовых отношений внутри политического общества.

---

Версия #4

Зверобой создал 27 января 2026 02:40:29

Зверобой обновил 27 января 2026 03:22:17